

Максим Горький

Шорник и пожар



Максим Горький

Шорник и пожар

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2132755

Аннотация

«После многих дней жестокой засухи в селе, над Волгой, вспыхнул пожар. Огонь показался на окраине села, около кузницы; огонь точно с неба упал на соломенную крышу убогой избы солдатки Аксёновой, упал и начал хвастаться весёлой хитростью своей игры: украсил весь скат крыши золотыми лентами, вымахнул из чердачного окна огромную, рыжую бороду и, затейливо изгибаясь, рождая синий дым, мелкий дождь красных искр, взмыл над избой, стремясь в тусклое от зноя небо к солнцу, раскалённому добела. Первым увидел несчастье старичок шорник; я сидел с ним на брёвнах против церковной паперти, слушая премудрые рассказы деревенского ремесленника о его бродячей жизни, рассказы человека, которому ближние сильно пересолили душу очень горькой солью...»

Максим Горький

Шорник и пожар

После многих дней жестокой засухи в селе, над Волгой, вспыхнул пожар. Огонь показался на окраине села, около кузницы; огонь точно с неба упал на соломенную крышу убогой избы солдатки Аксёновой, упал и начал хвастаться весёлой хитростью своей игры: украсил весь скат крыши золотыми лентами, вымахнул из чердачного окна огромную, рыжую бороду и, затейливо изгибаясь, рождая синий дым, мелкий дождь красных искр, взмыл над избой, стремясь в тусклое от зноя небо к солнцу, раскалённому добела. Первым увидел несчастье старичок шорник; я сидел с ним на брёвнах против церковной паперти, слушая премудрые рассказы деревенского ремесленника о его бродячей жизни, рассказы человека, которому ближние сильно пересолили душу очень горькой солью.

– Ух ты-и! – вскричал он, прервав свою речь. – Гляй, гляди-ко, – пожар занялся.

Есть какие-то секунды, когда на явление огня смотришь неподвижно и безмысленно, очарован изумительной живостью и бесподобной красотой его. Я предложил шорнику:

– Пойдём гасить, – но он, глядя на пожар из-под ладони, сказал:

– Не-ет, чужому на пожаре – опасно, а зримость и отсю-

дова хорошая.

Это было утром в праздничный день Ильи Пророка, народ сельский ещё торчал в церкви, но по улице уже мчались ребяташки, был слышен истерический крик женщин, по плитняку церковной паперти прыгал толстый мужик с деревянной ногой, дёргал верёвку колокола, – бил набат и ревел, как медная труба:

– Пожа-ар, миряне-е, горите-е...

Церковь тошнило людьми, они вырывались из дверей её, рыча, взвизгивая, завывая, прыгали со ступеней паперти через судорожно извивавшееся тело какой-то женщины, празднично пёстрая масса их крошилась на единицы, они бежали во все стороны, обгоняя, толкая друг друга, выкрикивая:

– Го-осподи!.. Батюшка, Илья Пророк!.. Матушка... Пресвятая!..

Торопливые удары набатного колокола хлестали воздух, из-под ног людей вздымалась пыль, заунывно выли и лаяли собаки.

Изумительна была быстрота, с которой опустела церковь, но ещё более поспешно действовал огонь, – он уже обнял всю избу, вырывался из двух её окон и точно приподнимал избёнку от земли. Загорелось ещё что-то, взлетали круглые облака густо-сизого дыма.

На траве у наперчи валялась, всхрапывая и взвизгивая, в сильнейшем припадке истерики кликуша в пёстром ситцевом платье. Выгибаясь дугою, хватая пальцами траву, она

точно боялась оторваться от земли, ноги её – в красных чулках, как будто с ног содрана кожа.

Солидно, не торопясь, но шагая широко, на паперть вышел тощий, высокий, сутулый церковный староста, лавочник Кобылин, в поддёвке, очень похожий на попа в рясе, а за ним выбежал, крестясь, голубой попик, кругленький, черноволосый, румянощекий. Приставив кулаки ко рту, как бы держа себя за седую бороду, Кобылин кричал:

– Иконы-то... образа-то захватите...

Шлёпнув себя ладонями по бедрам и мотая головою, точно козёл, он сказал:

– Экие бараны!

Затем, благодарно глядя в небо, перекрестился:

– От меня – далеко, слава те Христу, – а поп спросил, глядя на кликушу:

– Это – Марковых женщина?

– Ихняя. Лизавета.

– Неприлично как она... Ефим, ты бы её убрал, в сторожку, что ли...

Хромой мужик, перестав бить набат, стоял прислонясь плечом к стене, отирая пот с одутловатого, безглазого лица. Проворчав что-то, размахивая длинными руками обезьяны, он спустился с паперти, взял женщину под мышки, приподнял её, но она судорожно выпрямилась, выскользнула из рук его и, толкнув хромого, заставила его сесть на землю, а сама крепко ударилась затылком о ступень паперти.

– Ух ты! – вскричал хромой и матерно выругался.

– Неосторожный какой, – упрекнул его поп.

Кобылин глухим басом сказал:

– Ну, ничего, пускай её корчится, глядеть некому. Идём чай пить, батя...

Кучка молодёжи весело тащила по улице гремучий пожарный насос, торопливо шагали старики, один из них, в сиреневой рубашке и белых холщовых портках, седенький, точно высеребранный, и глазастый, как сыч, выкрикивал:

– Это обязательно кузнец! Он вчера, затемно, дачнику лосипед чинил.

– Не любишь ты кузнеца, дед Савелий!

– Зачем? Я – всех люблю, как богом заповедано! Ну, а ежели он – пьяница и характером – дикой пёс...

Где-то отчаянно и как будто радостно закричали:

– У Марковых занялось!

Да, загорелась крыша надворных построек богатого мужика Маркова, и огонь, по стружкам, по щепкам, бежал, подбирался к недостроенной избе, ещё без рам в окнах, без трубы на тёсовой крыше. Многочисленная семья старика Маркова, предоставив пожарной дружине гасить огонь, поспешно опустошала пятиоконную жилую избу и клеть, вытаскивала сундуки, подушки, иконы, посуду; батрак Семёнка и студент, дачник Марковых, приплясывая на огоньках стружек и щепы, сгребали их железными вилами, высокая, дородная девица плескала на ноги им водой из ведра, батрак весело

покрикивал на огонь:

– Ку-уда? Шалишь! Барин, не зевай, брючки загорятся!

Огромный старичина Марков в чалме буйных сивых волос, с бородою почти до пупка, толкал в огонь одноглазую сестру свою, старую деву, громогласно орал на неё:

– Ближе, дура! Ближе, курва, я те говорю!

Высокая, плоскогрудая Палага, держа обеими руками икону, показывала её огню и, сверкая одиноким зелёным глазом, визжала:

– Заступница милосердная, купина неопалимая, спаси, сохрани! Господи! Соседи, что же вы... Помогите!

– Ближа-а! – ревел Марков, одной рукой поддёргивая штаны, а ладонью другой толкая сестру в спину, в затылок. Она, прикрывая лицо иконой, отскакивала от огня, бормотала:

– Да что ты! Сгорю ведь я...

И ещё более визгливо, отчаянно звала соседей на помощь, а брат, мигая, сверкая страшно выпученными глазами, всё толкал её на огонь, и отблески огня наливали глаза его кровью. Когда Марков ударил старуху по затылку слишком сильно, она, высоко взмахнув иконой, упала лицом в пыль, на неё посыпались искры; пытаясь встать, она шлёпала иконой по земле, мычала:

– У-ух, о-ох!

Брат схватил её за ноги, оттащил прочь, вырвал икону из рук её, – у него свалились штаны до колен, тогда он, сунув

икону под мышку себе и вздёргивая штаны, яростно взревел:
– Эх, дьяволы, мать вашу...

Дьяволы – небольшая группа стариков, старух и среди них шорник – молча стояли на той стороне улицы, у плетня огорода, следя, как семья Маркова и человек пять соседей его, сломав плетень, таскают имущество в огород, следили, шевеля губами, точно считая чужое добро или молясь. Эта безмолвная группа людей быстро разрасталась, подходили, напившись чаю, миряне и дачники полюбоваться игрою огня, борьбой с ним.

Огонь потрескивал, посвистывал, шипел, посылая во все стороны маленьких, красных гонцов, взмётывая, вместе с дымом, горящие головни, с лисьей хитростью и как бы подражая воде, растекался ручьями, змеино ползал, пытаясь ужалить ноги людей. Молодёжь пожарной дружины забрасывала в огонь четыре багра, отрывала ими брёвна, тёс, кричала:

– Ра-азом! Ух, да-ух! Тащи-и...

Воду подвозили две бочки, но они разошлись, половина воды вытекала по пути к пожару, несмазанный насос стучал и скрипел, вода из шланга выливалась бессильной, тоненькой и жалкой струёй. Огонь брызгал на людей искрами, горячий воздух жёг руки, лица, люди работали недружно и неохотно, видя, что сгорят только две избы богатого мужика и что на крышах ближних изб сторожко сидят хозяева, поливая тёс водою из колодцев. Солидный, бородатый, лысый пи-

сатель Евтихий Карпов ласково и строго убеждал зрителей:

– Что же вы, миряне, не помогаете? Надобно помогать людям, которые терпят несчастье. Сегодня вы поможете им, завтра – они вам помогут. – Кто-то из толпы сердито спросил:

– А вам, господин, как известно, что и завтра пожар будет?

– Табачок, – заворчала старушка в синем платье и с лицом синеватого цвета. – Гостите у нас, а папироски курите, бесову забаву.

И ещё сердитый голос:

– Ребятишек приучаете к табаку.

Толстый мужик в клетчатом жилете поверх розовой рубахи, в синих пестрядинных штанах и босой, ласково ухмыляясь в рыжую бороду, смотрел на Карпова масляными глазами и уговаривал его:

– Ты, Евтихей Павлов, не слушай дикарёв этих. Чего они понимают? Живут дачниками, а туда же, ворчат – как собаки на чужого.

– Живут? – закричали на него. – Кабы не судьба наша горькая...

– Нужда заставляет избы под дачи сдавать, мерин!

– Он – знает. Сам сдаёт.

– Ему бы только чай распивать с дачниками-то...

Кто-то весёлым голосом прокричал:

– Кузнеца нашли-и!

В толпе озабоченно откликнулись:

– Константин, айда кузнеца бить...

Часть зрителей быстро пошла прочь, а маленький, остро-бородый человечек, прищурив детски ясные глазки, сказал:

– Докажут ему, кузнецу-то! Докажут, что бог создал человека, а чёрт кузнеца.

– Бог – Адама создал, а не человека, – сурово вмешалась старуха. – Не говори чего не знаешь.

– Да ведь Адам-от человек же?

– Адам – крылатый был, вроде ангела, до греха с Евой, а после того у Адама-то от крыльев одни лопатки остались...

– Эй, бабы, слышите?

– Поломали, повыдергали нам бабы крылья-то.

– А и верно! Вредное сословие...

– Бабы-то? Вреднее – нет...

– Сказано: «Куда бес не поспеет, туда бабу пошлёт».

Около Евтихия Карпова – шорник, его умненькие глазки сухо и остро усмехались, солдатское плюшевое лицо собралось в комок мягких морщин, он говорил негромко и поучительно:

– Вы, барин, не беспокойтесь. На пожаре у мужиков разум, как воск, тает. Всякому до себя, господин хороший...

– Нет, позволь, – пробовал возразить Карпов.

– Да, пожалуйста. Я ведь не спорю.

– Видишь ли: мир, община...

– Конечно, – поторопился согласиться шорник.

– Общая жизнь – понимаешь?

– Вот, вот, – снова согласился шорник и отошёл прочь.

– Какой бестолковый, – сказал мне Карпов, глядя в спину шорника. – Портят крестьянство отходники, оторванные от почвы... Покурим? – предложил он, вынув портсигар, но оглянулся и – спрятал его в карман, объяснив: – Забыл: я еще чаю не пил, а натошак – не курю.

Группа мужиков, человек десять, вела кузнеца в разорванной от ворота до подола грязной рубахе, по лицу его, как бы нарочно смазанному сажей, на растрёпанную бороду текла кровь, он шагал, покачиваясь, и мычал:

– Сволочи, спросите Пашку Авдеева или дачника его – мы втроём за Волгой ночь были.

– Был, так – был.

– Узнаем – поверим.

– Сволочи. Я в гору шёл, когда вспыхнуло, мать...

– С тобой – не спорят. Шёл, так – шёл.

– А за что били? За что? Мать...

– Разберём – узнаешь. Не лай.

Прошли, и в толпе пронзительно и торопливо зазвучал женский голос:

– А моё слово – подожгла Лизавета-кликуша...

– Ты – видела?

– А ты в одно то веришь, чего видишь? В бога – веришь, а – видел его? В Москве не был, а – знаешь, что Москва-то есть? Э-х, лопоухий чёрт...

И ещё быстрее, ещё более горячо женщина продолжала:

– Побей меня гром – она, Лизавета. Обидели бабу в кровь, в самые печени обидели, вот она и возместила...

– Давай, давай, давай, – дружно закричали гасители огня, зацепив баграми горящие брёвна, и оторвали от избы сразу венцов пять, огонь брызнул искрами, вздохнул синим дымом в небо, как бы напудренное горячей сероватой пылью, и ещё быстрее стал доедать то, что обнял, превращая дерево в красное золото углей. Парни поливали край огромного костра скудной струёй из шланга, девки плескали в огонь ведра воды, огонь обращал её в дым, в пар, шипел, посвистывал, трещал и делал своё дело. Покрикивая, повизгивая, прыгали босоногие мальчишки, загоняли длинными хворостинами головни в костёр; посредине улицы шагал, как журавль, староста Кобылин, подойдя к зрителям, он сказал замогильным басом:

– Надо было смиренно достоять обедню тем, которые незаинтересованные, а бросились все, вот господь и тово... и наказал...

– Кого наказал-то? – вскричала женщина. – Богатого, а богатому и пожар – выгода. Марковы-то в земстве застрахованы... Наказал!

– Аксёнова всегда всё знает, во всех карманах копейки считала, – сказал Кобылин, а женщина плачевно кричала:

– А я за что наказана? Вон, от избёнки-то, и углей не останется.

– Тебя за распутство бог наказал, – объяснил Кобылин и

пошагал через улицу – туда, где на завалине избы старшего сына сидел Марков, рядом с ним – ведро квасу, в руке его эмалированная кружка, он мочил в ней губы, бороду, глотая квас, и говорил сыну:

– Пожѐг сапоги-то? Форсите всё, щеголяете.

Сын, коренастый, рыжеволосый, стирая рукавом рубахи пот с широкого, остроносого лица, стоял около и, поднимая то одну, то другую ногу, угрюмо осматривал порыжевшие голловки сапог.

– Чать – праздник, – уныло сказал он. Отец закричал:

– Али ты – парень? Женатый, дети есть...

Кобылин сел рядом с Марковым, взял из руки его кружку и зачерпнул квасу, говоря:

– Ропщете? Роптать – грех. Пожар – дело божье. На людей, роптать можно, а на бога – грех.

– Люди, – сказал Марков и матерно выругался, а Кобылин, перекрестив кружку, выпил квас и, покачивая головой, продолжал:

– Люди – помощники нам слабые. Не любят нас, считают счастливыми. А – какое счастье? Вот – погорел ты...

– Пожарная снасть – плоха у нас, – жалобно сказал молодой Марков. На его слова старики не обратили внимания. Кобылин спросил:

– Сестра-то сильно обожглась?

– Ничего, – ответил Марков.

– У вдовой-то снохи – припадок?

Старик не ответил, а сын, подняв щепку, замахнулся бросить её в огонь, но швырнул вдоль улицы. Кобылин вздохнул.

– Слушок есть, будто чья-то баба угли из самовара вытряхнула.

– Кто видел? – угрюмо спросил Марков.

– Не знаю кто. А – говорят. Будто даже Лизавета ваша...

– Отойди, дьяво-ол, – заорал Марков, вскочив на ноги. – Что ты дразнишь, а? – Кобылин встал, выгнул спину, как верблюд, и пошёл прочь, оглядываясь через плечо, говоря бесцветным густым голосом:

– Тебе, кум, молиться, а ты – злишься. Бог не зря наказывает...

Сын Маркова, почёсывая бедро сжатым кулаком, проворчал:

– В рыло бы ему дать.

Отец встал, плюнул вслед куму и ушёл во двор избы, спустя руки вдоль тела так, точно нёс большие тяжести.

Огонь, довершая чистое своё дело, становился всё ниже ростом, как будто уходил в землю, под золотые груды углей. Серым дымом курились облитые водою брёвна и вдруг снова вспыхивали, кудрявые огоньки бежали вдоль их, гасли в одном месте, упрямо появлялись в другом. С весёлой яростью кричали мальчишки и били огоньки палками, высекая из головней стайки золотых искр. Взрослые не спеша расходились по избам, на улице становилось тише, и вдруг в жаркий воздух врезался отчаянный вопль:

– Го-ори-им! Эй, гори-им!

За уцелевшей избой Марковых вымахнуло в небо сизое облако дыма.

К полудню за огородом Марковых, на окраине села, успели сгореть ещё две избы. А под вечер шорник и я сидели на берегу Волги, в густой, но душной тени старых вётел. На реке – пустынно и скучно, солнце отражалось в ней тусклова-то, казалось, что мутная вода покрыта полупрозрачной пленкою какой-то ржавчины и от воды исходит неприятно густой, тёплый запах болота.

Шорник аппетитно курит толстую козью ножку, из его рта, сквозь седые усы, вместе с дымом спокойненько текут давно обдуманые слова.

– Вот, значит, говорит мне этот, сочинитель твой: «Надо, говорит, народу жить сообща, братски-залихватски». Тогда, дескать, всё будет хорошо и достойно есть, яко воистину и хвалите бога во святых его, мать вашу за ногу...

Я возражаю:

– Ну, этак-то он не говорил – хвалите бога...

– Погоди! А ты знаешь, как он думает?

– Знаю.

– Ни хрена ты не знаешь, – уверенно возражает шорник. – Ни единого нуля не знаешь. Ты ещё – телёнок, а не лицо. Тебя и вблизи от мордвина не отличишь, а ты мне противишься. – Как большинство бывалых людей, он любит похвастаться, а как большинство стариков – болтлив, но слушать его –

приятно и полезно. – Мне шестьдесят три года, – говорит он, почёсывая ногу ногой и посыпая её песком. – С девяти лет – работник, три ремесла знаю: шорник, шубник, суконщик. Семь губерний насквозь прошёл, на Урале, даже за Уралом бывал, в сотнях церквей молился, в сотнях рек купался, а сколько баб, девок имел – тому счёта нет. Так-то, мил друг Закорючкин!

– Что же он тебе ещё говорил? – спрашиваю я.

Старик, прищурясь, смотрит на реку, с того берега отплывает большая лодка, нагруженная женщинами в ярких ситчиках, оттуда слабо доносится песня.

– Он мне ничего не может сказать, – пренебрежительно отвечает шорник, помолчав. – А я ему: «Кто же, говорю, такой стол устроит, чтобы за ним все люди пили-ели? Чтобы, значит, смиренный с буйным, лакей с барином, батрачок с хозяином бок о бок?» Он – удостоверяет: «Оттого и живём грязно, что живём разно». Не зря учился, словами – богат, так и сыплет, так и сыплет, даже слюна кипит на губах. Ну, меня словами не одолеешь.

Странное у него, шорника, лицо: шишковатый лоб – гладок, кожа на нём туго натянута – ни одной морщины – и блестит так же, как на лысине, а под седой щетиной щёк и бритым подбородком – глубокие, дряблые складки. Когда он говорит – щетина шевелится, точно растёт, и это неприятно видеть.

– Вот, говорю, люди в Сибирь тысячами переселяются,

неделями ждут поездов, лежат на станциях, однидохнут с голода, другие – пропиваются дотла, а ребяташки мрут, как тараканы в нежилой избе. Крышка народу! Не-ет, меня не переспоришь. Переспорь, я на тебя год буду даром работать. Видал, как пожар гасили? То-то. У соседа беда – не беда, а забава. – Окурком козьей ножки он прижигает мохнатую толстую гусеницу и, глядя, как судорожно она извивается, равнодушно говорит: – Сколько этих кликуш по деревням! Доктора удостоверяют, что это болезнь, знахари доказывают – порча от злых людей, а попы – дескать – от беса. Я думаю: притворство, корчи эти. Притворяются бабы бесноватыми для того, чтоб их не били, а – боялись. Бабы – хитрые. Да ведь и всякому хочется от людей как-нибудь спастись.

Гусеница свернулась кольцом, замерла. Шорник раздавил её пяткой цвета сосновой коры и вздохнул:

– Бают, кликуша подожгла, сноха Маркова, жена второго сына его. Муж её в Сибирь загнан, дачницу убил, жил с ней, что ли... Вот вдова и корчится от вдовства своего. Да, наверно, и свёкор покоя не даёт, они тут все снохачи.

Я спрашиваю:

– Как ты это знаешь?

– Я здесь – не первый раз. Одна – целую зиму жил, тулупы пошивал. Да я и сам не дальний, из-за Лыскова. Месяца полтора на Марковых работал, жил у них. Он меня обсчитал, старый пёс. У него – примета: обязательно обсчитывать, хоша бы на пятак, а то, говорит, деньги переведутся. Н-да. Года

его – за восьмой десяток перешли, а – гляди, какой боец! И сын у него, который убивец, хорош был: красивый, силач, грамотный, книги читал, с дачниками всё возился. Может, его и зря засудили. Ну, однако тоже был жадный.

Шорник зевнул длинным, воющим зевком, лёг на спину, закинул руки под голову, прикрыл острые глаза.

– Мужик – чем сытей, тем жадней. Мужика, мил друг За-корючкин, досыта не накормишь, он – впрок ест. У него с господом богом неурядица: не то – бог даст, не то – откажет, голодом помирать прикажет. Стало быть: ешь в запас, чтобы бог-от спас.

Песня на реке зазвучала слышнее, старик вскочил и, прикрыв глаза ладонью, уставился на реку: лодка, точно цветами нагруженная, тяжело плыла против течения.

– Сюда перебираются, – сказал шорник. – Перегрузили лодку-то, дуры, утонуть могут. Они почти ежегодно эдак-то утопают. В юбках – недалеко поплывёшь. Конечно, убыток невелик, баб – довольно много, а всё-таки... беспокойство...

– Ты в бога-то веришь? – спросил я его. Он ответил ворчливо, поговоркой:

– «Божиться – божусь, а в попы – не гожусь». – Сел, сгрёб ладонями холмик песка, покрыл его растрёпанным картузом и, так устроив подушку, положил на неё лысую голову, заворчал: – Всё допрашиваешь, вроде как шпиён али – судья, земский начальник. А земский-то – кто? Он – помещик, его назначили на возврат мужиков крепостному праву. А при кре-

постном-то праве мне бы на одном месте сидеть истуканом без ума – вот оно что! Ну, скажем, тебя это не касается, как ты не мужик. А спрашивать – как сорьё перетряхивать, – толку нет, Закорючкин. Ты – себя знай, кроме себя, мил друг, ни хрена не узнаешь. Да и себя-то...

Шорник безнадёжно отмахнулся рукой от чего-то.

– Ты что сердишься?

– А – не приставай. Длинен ты, да не умён.

Я пригласил его в трактир чай пить.

– Дай вздремну, – сказал он, но тотчас же сел, продолжая ворчать:

– Беспокойный ты. Наянливый. Скажи тебе: верю, не верю. А – кто ты таков? Я тебя всего четвёртый день вижу. Может, я так верю...

Скороговоркой, тоном привычного балагура, он произнёс:

– «Бог в числе трёх: святой дух – ко всему глух, отец – купец, любит почёт, не угоди – сечёт, сынок – баюнок, сам воскрес, а мы – неси крест», – слышал прибаутку? Мне, мил друг, не до богов, у меня вот ноги отнимаются. Ну, и – тревожно душе: куда пойдёшь, где сядешь, как отнимутся ноги-то? Работал полсотни лет, а ни хрена нет... Марков-то сильно в жире, а у меня – одни жилы...

Он, как говорится, «попал на свою тропу», речь его бежит легко, свободно, чувствуется, что не вчера надуманы сердитые его мысли.

– Я тебе удостоверяю: о себе думай. Куда тебе дорога? К чему прицепиться? Вот о чём думай. А спрашивать будешь – тебе такого наврут, до смерти не распутаешь. Сам разбирай вопросы. Слыхал, как школьники говорят? «Вопрос: отчего ты бос? Ответ: лаптей нет». Вот те и вся премудрость...

Он засмеялся влажным смехом, похожим на кашель, всхрапывая, сплёвывая; смех докрасна раскалил его лицо, шею и долго сотрясал его сухое, лёгкое, жилистое тело. Перестав смеяться, лёг и, повторив: «Вот те и премудрость», – как-то сразу – точно в воду нырнул – спрятался в сон. На реке всё яснее звучала песня, покачивалась лодка, в ней бабы шевелились, становясь всё крупнее, цветистей.